

БЕГУНЫ И СПАСЁННЫЕ БУРСЫ

Очерк четвёртый¹



Николай
Помяловский

Ученики отпустились домой из бурсы по письменным билетикам от двенадцати часов субботы, до пяти часов воскресенья. В субботу разошлись ученики, большинство, по домам. Училище опустело. Карась остался в бурсе.

Ученики в свободное время обыкновенно сидели в спальнях. Карась находился в *Спого*. На него напала невыносимая тоска. Он бросился на кровать, покрыл свою голову подушкой и зарыдал. Мы, взрослые люди, на детское горе смотрим очень легко. Разве может ребёнок серьёзно страдать? Разумеется, большинство читателей ответит: нет. Между тем бывают детские печали глубокие и сильные, печали, за которые человек не может простить и тогда, когда станет взрослым. Карась в ту минуту, когда лежал на кровати, всех ненавидел. Разве может глубоко ненавидеть ребёнок? Может. Если бы не учился человек ненавидеть в детстве, не умел бы он ненавидеть и в зрелых годах. Бурса дала Карасю сильные уроки ненависти, злости и мести — бурса превосходное адовоспитательное заведение!

Для городского, привыкшего проводить праздники дома, самый гадкий день — праздничный день в бурсе. Карась кое-как дождался всенощной. Учеников разделили на две партии: одна отправлялась в лаврскую церковь, другая оставалась в бурсе. К первой принадлежали имевшие сколько-нибудь приличную одежду, ко второй оборвыши и отрепыши, которых стыдно было даже бурсацкому начальству пустить на свет божий. Карась остался с отрепышами, потому что был не уволен в город, а таких не пускали в лаврскую церковь.

По звонку в шесть часов вечера оборвыши и отрепыши отправились на домашнюю всенощную в так называемый *пятый номер*, то есть класс под № 5. Это была большая длинная комната, уставленная партами. На передней стене её висел огромный образ Христа, сидящего на престоле; пред тем образом и совершалась всенощная одним из лаврских монахов. Ученики сдвинули парты в одну сторону, к стене. Образовалась довольно обширная площадка, на которой и поместились рядами ученики. По правую руку образа поставили аналой, около которого поместилась *сборная братия*, то есть певчие-любители из оставшихся в бурсе оборвышей и отрепышей.

Карась в детстве был очень религиозный мальчик. Кроме того, на сердце его накопилось очень много горя. Он, лишь только началась всенощная, встал на колени и начал усердно молиться. Содержание его молитвы, как часто случается в детстве, было беспредметное, неопределённое. Он ни о чём не просил, ни на кого не жаловался богу; он, отрешаясь от внешнего мира, стремился куда-то всеми силами своей души. Тепла была его молитва и сильна... Так прошло около получаса, и Карась с каждым поклоном разгорался духом. Но это благодатное настроение было неожиданно нарушено самым пасквильным образом.

Когда Карась кончал усердный поклон, сосед его, дурак Тетеры, сделал ему дружескую смазь. Карася это изумило, а Тетеры, рассматривая свою пясть, в которой сейчас держал лицо Карася, увидел её мокрою...

— Ты плачешь, — сказал он Карасю...

Религиозный экстаз Карася миновался.

— У тебя слёзы? — повторил Тетеры.

Карась озлился, тем более что ему было стыдно своих слез...

— Безмозглая башка, — отвечал он и дал пинка Тетеры.

— Да о чём ты плакал? — спрашивал глупец Тетеры.

— Отстань, осёл!

— Скажи же, — допрашивал добродушный глупец.

1

Окончание. Начало
см.: НО. 2003. № 2, 4.



— Вот тебе!

Карась дал ему очень чувствительный пинок.

— Подлый Карасище, — приветствовал его дурак...

Таким образом, молитвенное настроение Карасино духа было нарушено. Карасю сделалось просто скучно. Он стал наблюдать религиозность своих сомолитвенников. Ученики любили свой бурсацкий храм более, нежели лаврский, потому что богослужение, которое они совершали, возможно было только в том именно храме, в котором и драли их. Домашняя служба была короче и веселее: её по возможности сокращали и делали занимательною. Дьячок из учеников, читая псалмы, перебирал слова до того быстро, что слышалось только щёлканье языком и губами, а смыслу... смыслу бурсакам и не требовалось... «Бог с ним!..» — говорили они... Для характеристики бурсацкого богослужения мы должны сообщить читателю следующего содержания рассказ. Сидели в горячей бане два купца, один очень жирный, другой так себе, и разговаривали они о духовных делах. «Нет, ты скажи мне, — говорит купец так себе, — что такое дьячок?» — «Известно, что: служитель божий», — отвечает жирный. «А вот и врешь». — «Что же такое дьячок, объясни!» — «Сейчас объясню, — отвечает задавший вопрос. — Дьячок, — говорит он, — есть дудка, чрез которую глас божий проходит, но... её не задевает, — вот что!» — «Это так, — подтвердил жирный, — ты в самую центру попал». После такого определения читатель поймёт нас, когда мы скажем, что бурсаки во время всенощной были не молещиками, а чистыми дудками... Но, кроме bestолкового дьяческого чтения, было ещё безобразное пение. *Сборная братия* любила *хватить, ляпнуть, рывкнуть, отвести кончик* — эти термины означают грома-гласия бурсы. Поющая и взывающая бурса стоит и подзадоривает тех, у кого хорошо устроены дыхательные мехи и горловые связки... Ревёт молящаяся бурса... Но это всё ещё ничего бы: у нас на Руси в большинстве случаев церковные службы сопровождаются нелепым чтением и анев-

ричным пением, но богомольный русский человек давно привык к тому, и его религиозное чувство всё-таки питается во время службы; но этот же стерпевшийся наш богомольный человек, посетив бурсацкую всенощную, непременно возмутится духом. Мы видели, как Карась во время службы смазь получил. Такие явления во время всенощной были очень обыкновенны. Молящиеся толкались, смеялись, плевались... Отрепши в первых рядах только стояли прилично, а в середине, где ученики были заслонены окружающими их товарищами, играли в карты и *костяшки*. *Хорь* лазил по карманам. *Чихотка*, второкурсник, спал на тулупе, *Павка*, городской мальчик, не отпущенный домой за леность, учил урок... Смази, щипки, плевики, подзатыльники рассыпались только *несколько* реже и скромнее сравнительно с обыкновенными занятыми часами.

Всё это в бурсе называлось богослужением . . .

Но не можем удержаться от горячего слова. И не будем удерживаться. Договоримся до конца — благо, время такое подошло, что *можно* говорить и *следует* говорить

Бурсацкая религиозность своеобразна. В бурсе вы всегда встретите смесь дикого фанатизма с полной личной апатией к делу веры. В бурсацком фанатизме, как и во всяком фанатизме, нет капли, нет тени, намёка нет на чувство всепрощающей, всепримиряющей, все-сравнивающей христианской любви. По понятию бурсацкого фанатика, католик, особенно же лютеранин, — это такие подлецы, для которых от сотворения мира топят в аду печи и куют железные крючья. Между тем всякий бурсак-фанатик более или менее непременно невежда, как и всякий фанатик. Спросите его, чем отличается католик от православного, православный от лютеранина, он ответит bestолковее всякой бабы, взятой из самой глухой деревни, но, не смотря на то, всё-таки будет считать своей обязанностью, своим призванием ненавидеть к католику и протестанту. Но жаль учеников, жаль: если препарировать бурсацкую религиозность, сбросить с неё покрывало, которым маскируется и декорируется сущность дела пред не специалистом или недальновидным наблюдателем, распутать схоластические и диалектические тенета, мешающие анализировать факт смело и верно, то эта бурсацкая религиозность, знаете ли, чем окажется в большинстве случаев? — она окажется полным, абсолютным *атеизмом*, — не сознательным атеизмом, а животным атеизмом необразованного человека, атеизмом кошки и собаки. Они называют себя верующими, и лгут они: у них и для них не существует того бога, к которому так любят обращаться женщины, дети, идеалисты и люди, находящиеся в несчастии. И что может развить в них религиозное чувство? *Уж* не *божественные* ли науки, которые зубрят они с проклятием и скрежетом зубовным? Эти-то науки, устилаемые их *сочинителями* дермом с чертоплешинами, и развращают человека. Науки бурсацкие таким писаны диким языком, вымощены таким непроходимым камением, что могут произвести в душе человека разве только сыворотку, а никак не возбудить в нём религиозное чувство. Прочитать бурсацкий учебник так же легко, как



перекусить толстую верёвку. Но попытайтесь перекусить эту верёвку, попытайтесь выучить наизусть, слово в слово, буква в букву, всю ерунду бурсацкую и в то же время ухитритесь поверить ей, обратитесь в своё убеждение, «в плоть и кровь», как приказывает своим ученикам один из семинарских педагогов, — тогда, честное слово, вы ошалаете навеки. Но главная причина, настоящая сущность дела всё-таки не в каменологии, не в дресвологии, не в тёрнологии туземных наук. Религия, хотя и не проповедует она в бурсе, как у поклонника Магомета, огнём и мечом, но проповедует розгой, голодом, дёрганьем из головы волос, забиением и заушением. Например, Лобов велит *вознести* ученика *на воздушях*, положить под самый нос его «Закон божий» и в то же время кричит дико: «Учи, сейчас же и учи урок!» Мы думаем, что бурсацкое начальство, поступая так, постепенно и незаметно, однако самым радикальным путём, направляет мирозерцание своих учеников к полному атеизму. Когда дети начинают подрастать, то из них лишь одни идиоты остаются упорствующими в фанатизме, вынося из бурсы только боязнь чёрта и ада, да ещё ненависть к иноверцам и учёным, а любви к человеку, заповеданной Христом, того чувства и тех начал, которые ныне называются гуманностью, они не получают от бурсы, потому что бурса вечно *аскоченствует*, убеждения её носят на себе всегда несчастное клеймо «Домашней беседы», этой плевательницы нашей российской духовной литературы. Но при дальнейшем развитии большинство бурсаков, чуя человеческим чутьём неладность своей науки, делается вполне равнодушно к той вере, за которую так долго и так жестоко секли их. Так формируется большинство; но затем остаётся меньшинство — самые умные люди из семинаристов, цвет бурсацкого юношества... Эти умные бурсаки распадаются на три типа... Одни из них — по направлению своему идеалисты, спиритуалисты, мистики и в то же время по натуре народ честный и славный, добрый народ. Они во время самостоятельного развития своего, силою собственного, личного ума и опыта, очищают бурсацкую веру, всечёрную в их душу, от всевозможных её ужасов, потом создают новую веру, свою, человеческую, которую, надев впоследствии рясы и сделавшись попами, и проповедуют в своих приходах под именем православной веры. Таких попов и народ любит, и так называемые *нигилисты* уважают, потому что эти попы — люди хорошие. Другого типа бурсаки — это бурсаки материалистической природы. Когда для них наступает время брожения идей, возникают в душе столбовые вопросы, требующие категорических ответов, начинается ломка убеждений, эти люди, силою своей диалектики, при помощи наблюдений над жизнью и природой, рвут сеть противоречий и сомнений, охватывающих их душу, начинают читать писателей, например, вроде Фейербаха, запрещённая книга которого в переводе на русский язык даже и посвящена бурсакам, после того они делаются глубокими атеистами и сознательно, добровольно, честно оставляют духовное звание, считая делом непорядочным — проповедовать то, чего сами не понимают, и за это кормиться на счёт прихожан. Это также народ хороший. Вначале этим бурсакам жаль вечности, которую им, в качестве материалистов, приходится отрицать, но потом они находят

в себе силы помириться со своим отрицанием, успокаиваются духом, и тогда для бурсака-атеиста нет в развитии его попятного шага. Эти люди всегда бывают люди честные и, если не вдаются в эпикуреизм, люди деловые, которыми все дорожат. Они, сделавшись атеистами, никогда не думают проповедовать террор безбожия.

Самый атеизм они определяют совсем не так, как принято у нас определять его. Вот как они резюмируют свой нигилизм: «В деле совести, в деле коренных убеждений насильственное вмешательство кого бы то ни было в чужую душу незаконно и вредно, и поэтому я, человек рациональных убеждений, не пойду ломать церквей, топтать монахов, рвать у знакомых моих со стен образа, потому что через это не распространю своих убеждений; надо развивать человека, а не насиловать его, и я не враг, не насилователь совести добрых верующих людей. Даже на словах с человеком верующим я не употреблю насмешки, а не только что брани, и остроты над предметами, которые дороги для человека, будут допущены мною только тогда, когда позволяет их мой собеседник, — иначе я и говорить с ним не буду о делах веры. Но, не стесняя свободу совести моих ближних, не желаю, чтобы и мою теснили. Научи меня, если сумеешь? Не можешь, отойди прочь. Я тебя поучу, если желаешь? Не хочешь, и толковать не стану — тогда моё дело сторона. При таких отношениях мы можем ужиться, потому что честный атеист с честным деистом всегда отыщут пункты, на которых они сойтись могут. Что такое атеизм? Безбожие, неверие, заговор и бунт против религии? Нет, не то. Атеизм есть не более не менее, как известная форма развития, которую может принять всякий порядочный человек, не боясь сделаться через то диким зверем, и кому ж какое дело, что я нахожусь в той или другой форме развития. А уж если кому она кажется горькою, то приди и развеяй меня в ином направлении. Если же будете насиловать меня, я прикинусь верующим, стану лицемерить и пакостить потихоньку — так лучше не троньте меня — вот и всё!» — Вот какие иногда бывают бурсаки. Этим тоже все лю-



бят и уважают, и честный поп, встретясь с атеистом-товарищем, охотно подаст ему руку, если только он в существе дела порядочный человек. Так и следует. Но бурса из умных учеников своих создаёт ещё род людей, которые, ставши атеистами, прикрывают своё неверие священнической рясой. Вот эти господа бывают существами отвратительными — они до глубины проникаются смрадной ложью, которая убивает в них всякий стыд и честь. Желая скрыть собственное неверие, рясоносные атеисты громче всех вопят о нравственности и религии и обыкновенно проповедают самую крайнюю, безумную нетерпимость. Беда, если эти рясофорные атеисты делаются педагогами бурсы. Будучи убеждены, что неверие лежит в природе всякого человека, и между тем поставлены в необходимость учить религии, они вносят в свою педагогику сразу и иезуитство, и принципы турецкой веры. По их понятию, самый лучший ангел-хранитель бурсацкого спасения — это фискал, наушник, доносчик, сикофанта и предатель, а самое сильное средство развить религиозность — это плюха, розга и голод. Терпеть не могут они христова правила, апостолам данного: «в доме, где не верят вам, отрясите прах ног ваших — и только»; нет, им хочется в христианскую веру напустить туретчины. «Отодрём, — думают они, — человека за погибель души его и стащим потом в царствие небесное за волоса хоть — и делу конец!» Эти рясофорные атеисты развивают в себе эгоизм — источник деятельности всякого атеиста, но который у хороших атеистов является прекрасным началом, а у этих, оскверняясь в их душе, становится гнусным. Они проповедают яро не потому, что боятся за вечную погибель своего *прихода*, а потому, что боятся вечной погибели своего *дохода*: при каждой проповеди они щупают свои карманы, нет ли в них дыры и нельзя ли дыру, если она есть, вместо заплатки заклеить проповедью. Эти рясофорцы бывают главными прислужниками тех барынь и купчих, которые постоянно ханжат и благочестиво кукутся на Руси: они обирают глупых женщин; кроме того, из них же выходят самые усердные церковные воры и святотатцы. Но,

имея широкие карманы, в которых лежат деньги верующих и усердных прихожан, не хотят часто шевельнуть пальцем, чтобы помочь какой-нибудь вдове голодающей, из их же ведомства, — благо, своё чрево давным-давно набито ассигнациями. Если в их руки попадает власть, то они употребляют её возмутительным образом; если они чувствуют в своих руках силу, то употребляют её на зло. Например, один знакомый нам литератор напечатал две очень дельные и честные статьи, касающиеся духовного вопроса, — так что же? он получил анонимное письмо, в котором говорится, что если он не прекратит своих статей, то его мать, вдова, будет выгнана из казённой квартиры и лишена последнего куска хлеба, а ему, литератору, лоб забреют. Я уверен, что это писал непременно рясофорный атеист, потому что когда к рясофорному являешься с откровенным словом, он против слова поднимается с дреколием. Вот каких господ заготавливает бурса! Но таких господ презирают честные бурсаки, которые считали себя не вправе надеть рясу, и верующее наше духовенство, образованная часть его — добрый поп всегда подаст руку доброму атеисту и с отвращением встанет спиной к своему же сослуживцу, но не верующему в своё призванье. Так и следует. Но пока довольно. Все эти мысли пришли нам в голову по поводу бурсацкого богослужения, которое для Караса началось так благоговейно, потом было прервано смазью, закончилось тем, что он под конец всенощной играл «в *чёт и нечет*».

Кончился для Караса гадкий бурсацкий праздник. «Неужели меня не уволят и на пасху?» — думал он. Страшно сделалось ему. Он знал, что такое в бурсе пасха.

Лучше бы совсем не существовало пасхи в бурсацком календаре. Этот праздник ожидался учениками с нетерпением, все думали встретить в святой день что-то особенное, выходящее из ряда вон; лица торжественные, светлые, добрые; товарищи внимательны друг к другу и ласковы; ни одной нет затрещины во всей бурсе. Хоры после спевки идут в церковь, поют с увлечением и звонко, весело христосуются и после службы возвращаются в бурсу, где и разговляются. Всё это очень мило; но вместе с разговорьем улетает из бурсы и праздник. Если бы дали ученикам простую рекреацию, они и справили бы её, как обыкновенно, но пасха — праздник особенный, и проводить его следует иначе. И вот бурсачки снуют из угла в угол, ищут своего праздника и найти не могут. Где же он? Затерялся где-то, а вернее всего, оставлен дома, на родине. Поневоле припоминают бурсачки христов день под родным кровом, все чувствуют, что не так надо праздновать его, и уже христовский вечер становится невыносимо скучен, на всех нападает тоска и апатия. Прожить целую неделю в таком состоянии — дело крайне тяжёлое. Оттого-то Карасю и прописывали бурсацкую пасху вместо казни: на дельное что-нибудь она и не годилась. Но Карась поклялся, что он во что бы то ни стало отделается от этой казни... Но что же он предпримет? «Сбегу», — чаще и чаще приходит ему на мысль. С этой блаженной мыслью он и заснул в тот день.

«Сбегу», — думал Карась, проснувшись и на другой день потру.



Эта мысль начинала нравиться Карасю и окончательно укоренилась по поводу одного маленького *бегуна*. Событие было такого рода. Привезли в училище *Фортунку*, деревенского мальчика, едва ли не семилетнего ребёнка, который долго скучал по родине. Этот *Фортунка*, когда ему сделалось очень горько от бурсацкой жизни, ночью задумал совершить бегство. Он предпринял такой подвиг, не зная, где найдёт приют, и не имея денег, а только полагаясь на слова песни, певавшейся в училище, в которой говорилось, что однажды шёл бедный малютка, он весь перемок и дрожал от холоду, но думал: «Бог и в поле птичку кормит и росой кропит цветы, — и меня он не оставит», и действительно, мальчику попала навстречу старушка, которая и приютила его у себя... Полагаться *Фортунке* больше было не на что, но он всё-таки встал с своей постельки глубокой ночью на ноги, натянул на себя свою одежду, завязал что-то в узелок и вышел на двор. «Вечер был, сверкали звёзды», как говорилось в приведённой же нами песне. *Фортунка* полез через забор, вот он уже сидит под открытым небом и думает со страхом, куда ему направить путь. «Но ладно: бог и в поле птичку кормит». Бурсацкая птичка хотела спорхнуть с забора...

— Стой! — услышал *Фортунка* чей-то грозный голос...

Его сняла с забора чья-то сильная рука и поставила на землю... Пред *Фортункой* оказался солдат *Цепка*, училищный хлебопёк, который и поймал его на месте преступления...

— Ты что затеял?

— Ей-богу, ничего не затеивал...

— Пойдём-ко со мной, дружище...

— Прости, *Цепа*...

— Пойдём, пойдём...

Солдат повлёк за собой *Фортунку*. Он привёл его в свою пекарню. Об этом солдате мы уже однажды упоминали как о человеке, несмотря на жестокость и грубость его характера, вообще добром...

— Ты что задумал, а?

— Я только погулять хотел...

— То есть в беги пуститься?.. это с чего?

— Здесь скучно, *Цепа*...

— Скучно? а инспектор отдерёт, так весело станет? И куда ты, такой мальчишка, пойдёшь?

— Домой пойду...

— Ах ты, каналья! Где же тебе домой идти?

Однако *Фортунка* понравился солдату.

— Присядь-ко лучше вот здесь, — сказал он мальчику, — и поешь лепёшек с маслом...

Фортунка от ласкового слова повеселел и начал есть данную ему лепёшку. Солдат разговаривал с ним о его доме и совершенно приглубил.

— Ну, поел и ступай с богом спать. И не думай уходить из училища — поймаю...

Фортунка пришёл в свою спальную и заснул в ней сном птички божией.

Но на другой день *Цепка*, несмотря на доброту свою, счёл обязанностью донести о попытке дезертира... «Отдеру», — сказал инспектор. Но когда к нему привели *Фортунку* и он в лице его увидел совершенного ребёнка, в котором и сечь-то нечего, тогда инспектор помиловал его...

Но бегство было одним из сильнейших преступлений бursы. Поэтому замысел *Фортунки*, хотя и кончился он пустяками, возбудил в училище толки.

— Бегуна поймали, — рассказывали в Камчатке. — Что же с ним сделали? — спрашивал с любопытством Карась.

— Ничего...

— Неужели?

— Инспектор простил.

«Убегу же и я, — укреплялся в своей затаённой мысли Карась, — ведь не заперют же, если и поймают».

Он стал разговаривать с товарищами о бегунах.

— Много у нас бегунов?

— Есть-таки...

— А ведь плохо им придётся...

— И очень даже...

— А правда, — спросил один, — что наши на дровяном дворе *спасаются*?

— Правда, только ты никому не говори...

— Я фискал, что ли?

— То-то. Я сам бывал у них в гостях.

— Как же они живут?

— Отлично живут. В дровах поделали себе келью и спасаются в ней..

— Чем же они питаются?

— Воруют. Вот уже второй месяц живут так... Иногда милостыню просят... Иногда приходят сюда, в училище, и наши дают им хлеба...

— Не выдадим своих, — ответили слушатели с гордостью.

«Убегу и я», — думал про себя Карась и с каждой минутой разгорался духом...

— А что *жених* наш? — спросил кто-то об ученике, упоминаемом в прошлом очерке. — Он никак теперь пятый раз состоит в бегах. Сколько раз его драли за бегство?

— Четыре раза, а всё-таки неймаётся... Отпорют его, он бежит за восемьдесят вёрст



да пешком лупит. Явится домой, его начинают драть отец, от отца он бежит в бурсу. Отстегают здесь, он опять домой: так и гоняют его розгами с места на место.

«Но ведь не засекли жениха, — ободряет себя Карась, жадно прислушиваясь к речам товарищей, — и я жив останусь».

— Но что жених? Нет, вот бегуны-то: Даниловы...

— И ведь городские ещё?

— Да; напишут, бывало, фальшивые письма от родителей, что они оставлены дома по болезни, начальство не беспокоится, дома этого не знают, и Даниловы гуляют себе по городу. Так они однажды гуляли целую треть года...

— А правда, что их однажды поймали вместе с мошеннической шайкой?

— Ещё бы. Но потом другие мошенники выкупили из полиции. Они опять долго торговали краденой нанкой и имели большие деньги. Когда же негде было стянуть, нанимались в подённую работу.

— Ай да ну! Но не слышно ли чего о *Меньшинском*?

— Что-то не слышно... А он тоже давнo в бегах...

— Вот этот будет почище всех. Помните, как он однажды оборвал у инспектора часовую цепочку и бросился на него с перочинным ножом? Он когда-нибудь зарежет его. То ли ещё было с ним: он раз кинулся с ножом на своего отца.

— И всё это ему проходит. Отпорют и только.

— Другому давно бы дали волчий паспорт, а у него покровители есть.

Про *Меньшинского* говорили правду. Он был примером того, что жестокое воспитание может сделать из человека. Из *Меньшинского* оно сделало чистого зверя, который не задумался бы под горячую руку и приколоть кого-нибудь. Долго толковали о нём, предполагая, чем разыграется последнее его бегство. Пред тем, по просьбе отца, его так наказали, что, совершенно избитого, на *рогожке* отнесли в больницу.

У Караса гвоздем села в голову мысль покинуть бурсу. «Если и накажут, то всё же не так, как *Меньшинского*: я воровать не

буду и с ножом ни на кого не брошусь. Пусть секут потом; теперь, по крайней мере, погуляю». Он стал обдумывать план бегства. И он, предпринимая такое смелое дело, был не много разумнее *Фортунки*. Но Карась ходил около ворот и выглядывал, как бы шмыгнуть за них: это было дело нелёгкое, потому что привратник строго следил за бурсаками и без билета, данного от инспектора, никого не пропускал в ворота.

«Лишь бы только уйти, а там пойду, отыщу дровяную келью и присоединюсь к спасённым. Не примут, удеру куда-нибудь — всё одно».

Так размышлял Карась, стоя у ворот училища, с твёрдым намерением исполнить свой замысел.

Но вдруг распахнулись двери училища настежь, и в них показалась телега. Сзади шёл священник. Телега остановилась у дома инспектора, к которому и отправился священник. Карась из любопытства заглянул в рогожку, которою был прикрыт экипаж, и невольно попятился назад. Из-под рогожки на него сверкнули два страшных глаза...

— *Меньшинского* привезли! — закричал он. В телеге лежал, связанный по рукам и ногам, действительно *Меньшинский*. Он, убежав за несколько вёрст, в свою деревню, был накрыт отцом ночью, скручён веревками и отправлен в бурсу. Свободным везти его боялись — непременно убежит снова... Около телеги образовалась толпа учеников.

— *Меньшинский*! — говорили бурсаки...

Он посмотрел только со злобой на своих товарищей; он всех их ненавидел в ту минуту.

— Как тебя поймали?

— Связанного так и везли?

— Сорок с лишком вёрст?

— Убирайтесь к чёрту, — отвечал он и закрыл глаза.

Появился инспектор, и толпа рассыпалась в стороны.

Через полчаса велено было ученикам собраться в *Пятом номере*. Туда притащили связанного *Меньшинского*, повалили его на пол, раздели, два служителя сели ему на плечи, два на ноги, два встали с розгами по бокам, и началось сечение.

Жестoko наказали знаменитого бегуна. Он получил около *трёхсот* ударов и замертво был стащен в больницу на *рогожке*...

Впечатление от этой порки было потрясающее.

«Страшно, — подумал Карась, — бог с ним и с бегством! Лучше на пасху не пойду».

После того у Караса прошла охота бежать.

«Однако на пасху не идти? Нет, как-нибудь да урвусь из бурсы. Завтра обиход, — думал Карась, — решится дело — идти мне на пасху или нет?»

Вот когда сделалось ему страшно. Чем ближе подходил грозный день неотпуска, тем становилось ему тошнее. К чувству ненависти и тоски присоединялось ещё какое-то новое чувство: всё стало казаться пустяками, зарождалась мизантропия, мрачный взгляд на мир божий. Пробовал он чем-нибудь развлечься — ничего не выхо-



дило. Купил он костяшек и стал играть в *юлу*. «Какое нелепое занятие!» — сказал он через несколько минут и раскидал костяшки по полу. Добыл пряник из кармана, стал лакомиться, но скоро и пряник полетел на печку. Пошёл к своим дуракам, но дураки только бесили его. В душе Караса начали подниматься вопросы, на которые ни йоты не могли ответить дураки. «Отчего всё так гадко устроено на свете? Отчего люди злы? Отчего слабосильного человека всегда давят и теснят? Где всему этому начало? Говорят, дьявол всему причина, он соблазнил людей, но кто же дьявола-то соблазнил? Был когда-то рай на земле, но теперь всё гадко на свете: отчего это? откуда?» Дуракам до таких вопросов, разумеется, не было дела. Сновал Карась из угла в угол и сильно волновался, наконец забился он в своей Камчатке под парту, накрыл победную голову шинелью и горько зарыдал. Слёзы, однако, мало облегчили его. Он мало-помалу, однако, забылся и, утомленный впечатлениями дня, заснул кое-как. Пробудился он с головной болью, и первый вопрос опять был о пасхе.

Карась думал, что он с ума сойдёт от горя. Но вдруг лицо его стало проясняться, какая-то надежда прокрадывалась в сердце, точно он видел исход из своего положения. Карась решался на что-то и не решался. Но борьба быстро кончилась.

— Не умру же, господи, твоя воля! — проговорил и приступил к занятиям такого странного рода, что человеку, не знакомому с тайнами бурсацкой жизни, мог показаться уже лишившимся рассудка.

Вечер. Занятия кончаются. Скоро ужин.

Карась вышел на двор, отыскал большую лужу, уселся около неё и стал снимать сапоги. Потом, оставшись в одних чулках, принялся бродить по воде, как будто и в самом деле превратился в большую рыбу. После такой операции он надел сапоги сверху мокрых чулков и долго ходил по двору. Хотя уже весенний лёд прошёл и время стояло довольно тёплое, но на дворе по вечерам стояла лёгкая изморозь. Карась рисковал поплатиться здоровьем, но когда чулки на нём просохли, он опять стал плавать в луже и снова повторил свою проделку. Всё это было очень дико. Но Карась не унимался. За ужином он нарочно ничего не ел, хотя не мог пожаловаться на дурной аппетит. После ужина он опять ходил в намоченных чулках. Пришедши в спальную, он намочил холодной водой галстук и надел его себе на шею. Все заснули, а он всё ворочался в постели. Когда же стал одолевать сон Караса, он встал с кровати, добыл свои подтяжки, привязал ими себя за ногу к спинке кровати — положение, в котором невозможно заснуть. Он гнал свой сон. Мучил себя Карась добровольно.

Но что всё это значит?

«Как бы захворать? — думал Карась. — Завтра меня стащут в больницу, обиход пройдёт без меня, и я останусь уволенным на пасху. Не умру же я. Хоть и больного возьмут домой, всё же лучше!..» Вот чем объясняется сумасбродство Караса... Когда бурсак уходил от какой-нибудь беды в больницу, прятался в отхожих местах, строил келью на дровяном дворе, утекал в лес либо домой, то это на местном языке называлось — *спасться*.

Спасаящихся в больнице было немало. Мы видели, что делал Карась, чтобы поселиться в ней. Для той же цели многие развивали на теле чесотку и нарочно не лечили её, смотрели долго на солнце, чтобы получить куриную слепоту, натирали шею сухом либо накальвали её булавками, чтобы распухла она, расковыривали страшно свои носы, растравляли на ногах раны и т.п.

Чёрт бы побрал бурсу, заставлявшую человека прибегать к тем же средствам, чтобы избавиться от неё, к каким прибегают рекруты для избавления от солдатчины, то есть обрубая себе пальцы и рвут вонзубы. Отлично.

Полутру на другой день Карась, бледный, растрёпанный, еле держась на ногах, был отведён *старшим* в местную больницу.

Но такое *спасение*, на которое решился Карась, обходилось очень дорого: во-первых, потому, что приходилось рисковать здоровьем, а во-вторых, больница была одним из самых страшных мест бурсы.

Она делилась на два отделения: *чистое* и *честное*. *Чистое* имело в себе комнату под аптекой; потом шли палаты для больных. В палатах на железные кровати были брошены слежавшиеся матрацы, жёсткие, как камень, — в них гнездами гнездились клопы и другие паразиты. Комнаты были с линючими стенами, в пятнах, плесени, зелени; пол проеден мышами и крысами. *Чесотное* отделение, находящееся от *чистого* через коридор, в одной огромной комнате, было ещё милее: это была какая-то прокажённая яма, кипящая коростой, струпьями и всякою заразой. Подле той ямы находилась кухня, из которой неслась нос рвущая гниль и вонь. Близлежащие ватер-клозеты увеличивали впечатление. Содержание больных было очень нездорово. Воздух, при дурной вентиляции, был дохлый, пища скудная и скверная — *габер-суп*, прозванный от бурсаков *храбрым супом*, вместе с *пятибулкой* (булка в пятак ассигнациями), прополаскивая желудок, мало питали организм; бельё было грязное и рваное; верхняя одежда тоже, но особенно замечательны были так называемые *саккосы* (древнее слово, означающее вретиче, рубли-



ще, лохмотьище и одежду смирения), то есть дерюжные, сероармяжные халаты; при этом строго наблюдалось, чтобы грязный колпак был на голове больного, так что больные сразу казались и нищими, и дураками. Лекарства, нечего и говорить, были пустые: мушки, рожки, горчица, ромашка, oleum ricini (касторка), рыбий жир, мазь от чесотки да несколько пластырей — вот, кажется, и всё; только в крайних случаях решались на что-нибудь подороже.

Ко всему этому фельдшером был некто Мокеич. Он был глух на правое ухо и глух на левое ухо, глуп с фронта и глуп с затылка, хотя и был человек души доброй. Он был глубоко убеждён, что доктора всегда глупее фельдшеров, особенно молодые. Мокеич хвастался главным образом тем, что у него счастливая рука, и, вероятно, на этом основании пропил аптекарские весы, а после всегда узнавал вес рукою — подтряхнёт на ладони какую-нибудь специю, «пол-унце», — говорит и сыплет в банку. Он лечил обыкновенно прислугу училищную и кой-кого из окрестных обывателей, перед которыми и ругал своего доктора.

Бурсаков в такой больнице спасал от смерти служащий при ней Доброволин. Если бы не он, то мором бы морило бурсаков.

Ученики, помнящие его, вспоминают об этом человеке с глубоким уважением и любовью. Он обладал отличною учёностью, постоянно следил за наукой и в какие-нибудь три года составил себе огромную репутацию. Кроме того, что он всегда был готов помочь, уже один вид его доброго лица, ласковый, задушевный голос, умение обойтись с больным оживляли пациента доброй надеждой. Бедные люди во всякое время дня и ночи могли найти его готовым на помощь им: посещая лачугу какого-нибудь бедняка, он приносил ему лекарство, пищу и деньги. Несмотря на то что он имел богатую практику, Доброволин, вследствие необъятной доброты своего сердца, по смерти оставил капиталу только *пятиалтынный*. Когда газеты напечатали его некролог, то огромное количество почитателей стеклись, чтобы помочь его семейству в несчастье.

Доброволин был духовного происхождения и очень любил бурсаков. Он вёл деятельную и усердную войну с училищным начальством. Но, несмотря на всю энергию свою, ничего не мог сделать в этом несчастном гнезде. Больница осталась страшным местом.

И вот всё-таки в это место, полное смрада, нечистоты и болезней, бурсак прибегал, как в древности прибегали люди к священному алтарю своему, искать защиты и спасения. Бурсак в гнусной больнице искал спасения. И знаете ли, что и здесь не всегда ученик избегал зол бурсацких: бывали, хотя очень редко, примеры, что *больных секли*. Да.

Но Карась всё выжил, всё перенёс, лишь бы только бурсацкое начальство не украло у него домашнюю пасху.

Пасху Карась провёл дома. Дорогонько она обошлась ему ...

Вот, господа, как бегают и спасаются наши бурсачки.

ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ БУРСЫ

Очерк пятый

Несколько бурсачков в спальном коридоре играли в жмурки. Один из них, с завязанными глазами и распростёртыми руками, ловил товарищей. Игроки то дергали его за сюртук с весёлым смехом и шутками, то прятались от него по углам или тихо ходили около него на цыпочках. Наводивший, по прозвищу *Копчик*, бежал по направлению слышанных голосов. Но вдруг стихло всё, и Копчик встретил на пути своём неожиданное препятствие, ударившись головою во что-то мягкое, по ощущению похожее на подушку, набитую хорошим пухом, он схватил руками этот странный предмет. По всем соображениям, в руки попался человек, но что за че-

ловек? — такого мягкого, пузатого, шарообразного не было среди играющих. Однако Копчик, не разобрав, в чём дело, радостно закричал:

— Ага, попался, голубчик!

Он стал ощупывать круглый предмет, потому что в жмурках недостаточно только поймать кого-нибудь, а следует ещё угадать, кто пойман... Но Копчик вдруг услышал над собою грозный голос:

— Сам попался, мерзавец!..

Голос был незнакомый.

— Кто это? — спросил Копчик.

— Я это!

Копчик почувствовал, что в его волоса вцепился какой-то зверь и теперь свирепо таскает его. Он быстро сдёрнул с глаз повязку и диву дался: он увидел перед собою какого-то человека, очень толстого, круглого и красного, в корпусе которого, по крайней мере, две трети пошло на пузо.